

СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая. Schweinerei.....	9
Глава вторая. Суп усталой лошади.....	66
Глава третья. Тавромахия.....	132
Глава четвертая. Фалалей	198
Глава пятая. Другие барабаны	257
Глава шестая. Похороны трески	316
Глава седьмая. Παράνοια	381

Вообразите себе общество, состоящее из таких людей, что каждый любит только одного себя, а других только в той мере, насколько они с ним составляют одно, — и увидите, что любовь их та же, что между ворами...

СВЕДЕНБОРГ*

* Перевод А.Н. Аксакова.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

SCHWEINEREI

КОСТАС

Утром я впервые в жизни побрился ножом у ручья. Давно хотел это сделать. Вода была родниковая, ледяная, но я выкупался, натянул свитер и выпил кофе из маленького красного термоса, который сунул мне в руки хозяин кафе «Канто», когда я сказал, что ударяюсь в бега. Встретив его недоверчивый взгляд, я добавил, что он может взять себе дверные ручки, уцелевшие при пожаре, каминные решетки и все, что найдет там полезного. Если поймают, накинут еще год к твоим четырем, сказал хозяин кафе, а то и три.

Я думал об этом, стоя на обочине шоссе E1, еще не просохшего от ночного дождя. Если поймают, то выйду я нескоро, на европейских купюрах будет нарисован кто-то другой, может статья, самой Европы уже не будет, и вполне вероятно, что не будет бумажных денег вообще. Я не так долго сидел, чтобы запаршиветь, но успел пропитаться сырым тюремным отчаянием, придется просушить его в дороге, на апрельском ветру.

Все беглецы попадают рано или поздно, если хотят сообщить о себе друзьям или семье. У меня нет ни друзей, ни семьи, думал я, поднимая большой палец и улыбаясь водителям, так что я не попадусь. В семь часов меня подобрал грузовик, направляв-

шийся на север, так что я сошел возле Карвалеiry, когда солнце еще не достигло зенита. До испанской границы оставалось полдня пути.

Я нашел укромное место за кустами можжевельника, собрал ветки и развел небольшой костер, чувствуя себя солдатом, отбившимся от роты в глухом лесу, нет, скорее — новобранцем, проснувшимся на опустевшем биваке, где еще не успела остыть зола. Недоумение, которое поселилось во мне зимой, все еще холодило мне ребра, но страх и тревожность меня покинули. С тех пор, как я увидел обгорелые стропила и почуял запах погубленного жилья и жирной земли. С тех пор, как во мне поселилась ярость.

Согревшись, я выложил все, что было в карманах, на траву и перебрал свое имущество. Что у меня в дорожной сумке, я и так знал: две рубашки, компьютер, бритвенный помазок, футболка с надписью «Azuis e Brancos» и фаянсовая кукольная голова. Когда за мной пришли, сестра набила сумку чем попало, хотя торопиться было некуда, полицейские спокойно ждали, когда я буду готов.

В карманах обнаружился паспорт убитого друга, две сотенные купюры, спички, разбитый телефон и нож, который я пришил вчера на кухне мотеля.

В Лиссабон я больше не вернусь, а бежать лучше всего налегке. Вот сидеть — другое дело. В камере каждая вещь, карандаш или обмылок, становится знаком, подтверждающим существование свободы. Пачка оберточной бумаги, на которой я писал в сетубальской тюрьме, была украдена, когда соседям по камере передали рассыпной табак. Все свое носи с собой!

За зиму я многое понял про тюремную жизнь. Если ты думаешь, что тебя заперли, попробуй открыть дверь. Не переставай говорить вслух, а то забудешь, кто ты такой. Если ты сидишь в тюрьме, это не значит, что ты совершил преступление.

* * *

Когда они пришли за мной в первый раз, все произошло как в фильме братьев Люмьер: быстро, в черно-белом мерцании. Паровоз летел мне в лицо, я задыхался, наглотавшись угольной пыли, а статисты прохаживались по квартире, будто носильщики по перрону. Я ждал их уже давно, и вот они пришли.

Полицейских было четверо: трое разбрелись по дому, а инспектор постучался ко мне в спальню и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Вместе с ним зашла настороженная Байша со стаканом молока.

— Константин Кайрис? Я инспектор полиции. Одевайтесь.

Разговаривать с инспектором, бесцветным, как глубоководная рыба, мне пришлось на кухне. Сначала мы долго молчали: он рылся в портфеле и прихлебывал молоко, а я слушал, как полицейские швыряют на пол книги и скрипят дверцами платяных шкафов. Один из них вошел в кухню и выложил на стол пакетик с травой и грубо оторванную видеокамеру. Инспектор нахмурился и одним глотком допил молоко.

— Кино снимаете, Кайрис?

В столовой раздался обиженный звон. Похоже, там уронили музыкальную шкатулку с грифонами, жаль, что я ее вовремя не продал. Через минуту зашел сержант с плотно набитым конвертом, который я вчера приготовил для посредника.

Инспектор поставил портфель под стол, разложил бумаги и достал карандаш, движения его были плавными, но значительными, как у танцора фламенко. Потом он заглянул в конверт, присвистнул и, не пересчитывая денег, сунул его в папку, а папку положил в портфель.

— Я должен подписать акт об изъятии? — мой вопрос заставил его поднять глаза. — У вас есть санкция прокурора?

— Бумагу выпишут только завтра. Но если вы не будете сотрудничать, то мы проведем обыск как следует: вскроем полы, разломаем мебель и пустим пух из всех подушек.

— Ясно.

— Предлагаю вам сдать оружие, а также предъявить имеющиеся в доме ценности. Мы все равно вас сегодня заберем, для этого у нас есть основания.

Он говорил так нудно и размеренно, что я поверил. Ясно, что у них появился подозреваемый номер один: сомнительный иностранец, у которого дом набит гаджетами для слежки.

— Я буду сотрудничать.

— У вас имеется армейский пистолет «Savage M1917» с инкрустацией и наградной надписью на рукоятке?

— Был такой. Он принадлежал хозяину дома, сеньору Браге.

— Вы знаете, что им воспользовались в преступных целях?

— Знаю. Несколько недель назад. Но я не имею к этому отношения.

— То есть вам известно про убийство? Вы употребляете наркотики, Кайрис?

Я услышал тихое фырканье, обернулся и увидел свою служанку Байшу, стоящую в дверях. Уставившись на следователя, она вынимала из волос бумажные бигуди и складывала в карман халата.

— Какое вам дело? Я заявляю протест. Занесите это в протокол.

— В протокол заносятся только процессуальные действия. А также изъятые ценности с точным указанием их количества и стоимости. Протесты сможете обсудить со следователем. Собирайтесь.

— Я могу взять компьютер и телефон?

Инспектор пожал плечами, сунул бумаги в свой портфель, разваливающийся, будто обугленное полено, и окликнул полицейского:

— Что вы там возитесь, сержант? Выводите задержанного.

— Одну минуту, капитан. Тут какое-то устройство в кладовой и куча проводов на полу. Мне отключить провода и принести этот ящик?

— Ничего не трогайте! — Инспектор поставил портфель на пол, поднялся и направился в кладовку. Я соскользнул под стол, дотянулся до папки, торчащей из портфеля, нащупал в ней конверт, вытянул деньги, примерно половину, и сунул их за пазуху.

Байша внимательно смотрела в окно, на затылке у нее сидели две папильотки-лимонницы. Инспектор недовольно гудел за дверью, я услышал звук бьющегося стекла и хруст стеклянной пыли под каблуками. Похоже, они наткнулись на сервер, стоявший в кладовке за плотным строем банок из-под теткиного варенья. Банки были пустыми, последнюю мы с Байшей раскупили в четырнадцатом году, это были маленькие зеленые абрикосы.

* * *

Когда меня вывели из дома, инспектор повернул рубильник на лестничной площадке, закрыл дверь моим ключом и опустил всю связку в карман моего пальто. Руки у меня были скованы за спиной, наручники надели еще в прихожей, а один из полицейских придерживал сзади за плечо, как будто мне было куда бежать.

Байша успела повязать мне на шею теплый шарф, и я боялся, что он развяжется и упадет. В машину меня сажали с церемониями, зачем-то пригибая голову рукой, хотя дверца фургона была довольно высокой, в человеческий рост.

Этот жест напомнил мне движение конюха на ипподроме, которое я подсмотрел, когда был там прошлой зимой с Лиlientалем. Мы искали жокея, который должен был подсказать пару верных ставок, и долго бродили в пропахших мокрыми опилками закоулках конюшен. Наконец мы вышли к манежу и увидели, как мохнатого пони гоняют по кругу вдоль проволочного забора.

Когда жокей услышал свое имя, он спешился и подвел лошадку ко входу, чтобы с нами поздороваться. Я заметил, что он пригнул голову пони рукой в перчатке и стоял так, не отнимая руки все время, пока с нами разговаривал. Поймав мой взгляд, он сказал, что делает это не со зла, а затем, чтобы лошадь знала, что до стойла еще далеко и хозяин требует покорности.

В полицейском фургоне не было окон, и я смотрел в затылок инспектора, маячивший впереди, за узким грязноватым окошком. Затылок был приплюснутым, что говорит о жадности и упрямстве, а шея была кривой, что свидетельствует о живом уме. Осталось узнать, будет ли он зверствовать на допросе, подумал я, но тут машина замедлила ход, стукнули ворота, инспектор обернулся и кивнул мне на прощанье:

— Идите, Кайрис. Дальше без меня.

Сержант дал мне знак выходить из фургона и повел вперед, пригнув мою голову рукой в перчатке, так что я увидел только дорогу, засыпанную гравием, и ступени крыльца. У двери я поднял голову и прочел: *полицейский департамент номер шесть*. И чуть пониже: *касада дос Барбадиньос*.

Странно, что мы ехали так долго, в этом районе мне приходилось бывать у знакомого антиквара, и я ходил сюда пешком, с парой подсвечников под мышкой или граненым графином, завернутым во фланель. Тогда я только начал распродавать свой дом по кускам и немного стеснялся.

На крыльце сержант вдруг скривился, как будто вспомнил что-то неприятное, достал из кармана бумажный мешок, расправил и ловко надел мне на голову:

— Извини, брат. Такие здесь порядки.

Я спокойно стоял у двери, прислушиваясь к его удаляющимся шагам. Хлопнула автомобильная дверца, кто-то засмеялся, потом завелся двигатель, зашуршал гравий. Почему они повезли меня на северо-восток, разве в алфамском участке нет своего отдела убийств? Дверь открылась, меня взяли за наручники и потянули внутрь. Конспираторы хреновы, начитались про Гуантанамо, сказал я тихо и тут же получил тычок под ребра.

Похоже, отсюда дорога только в аэропорт и домой, в тюрьму на улице Лукишкес, думал я, медленно продвигаясь по коридору. Конвойный придерживал меня за плечо и предупреждал: лестница, стоять, направо.

Я ожидал жестокого допроса, но меня отвели на второй этаж, стянули с головы мешок, втолкнули в камеру с бетонной скамейкой, сняли наручники и оставили одного. Даже обыскивать не стали, а могли бы неплохо пожить.

Сидеть на бетоне было холодно, так что я стал ходить вдоль стены, зачем-то считая шаги; через три тысячи шестьсот шагов мне принесли одеяло и матрас, набитый чем-то вроде гречневой шелухи. Я вытянулся на матрасе лицом к стене и закрыл глаза.

Подумаешь, бетонная скамья. В позапрошлом году, когда я был во Флоренции, мне приходилось спать на антресолях шириной с половину плацкартной полки. Так вышло, что я жил в дешевой квартире в районе реки Арно, спальни там вообще не было, а на антресоли вела шаткая лесенка.

Я долго не мог привыкнуть и часто бился головой о дубовую перекладину потолка. Через две недели мне показалось, что на балке образовалась вмятина. Меня это почему-то обрадовало: те, кто поселится здесь после меня, будут смотреть на вмятину и усмехаться, думая о прежнем постояльце.

Засытая, они будут думать обо мне — вот что меня тогда волновало, поверить не могу.

* * *

В жизни все — либо предупреждение, либо повод, говорила бабушка Йоле, тогда это казалось мне бессмысленным набором слов. Каким предупреждением был ее последний подарок?

Йоле была прижимиста и всегда заворачивала подарки сама. Однажды, развернув ее пергаментный пакетик, я обнаружил там грубошерстные армейские носки, дырочка на пятке была аккуратно заштопана. Кто бы сказал мне тогда, что за такие носки я бы полгода жизни отдал в этой сырой, как долина тисов, тюрьме?

Повод или предупреждение? Если бы в тот день, когда я увидел Лиссабон впервые, кто-то сказал мне, что я буду сидеть за решеткой в районе грузового порта, я бы точно не поверил. Мне было четырнадцать, мы с сестрой стояли на террасе и стреляли из лука с бельевой резинкой вместо тетивы, стараясь попасть в фонтан, прямо в шершавую голову лосося.

Агне не знала ни одного литовского слова, хотя у нее было древнее имя и волосы цвета пожухшего сена, еще светлее, чем у моего школьного друга Лютаса. Удивительное дело, вокруг меня всегда, с самого детства, роятся светловолосые люди, будто стеклянные мотыльки *Palpita vitrealis*.

Так вышло, что до приезда в Лиссабон я ни разу не видел своей сестры. И ее матери, которая так смешно писала свое имя — Зое, тоже не видел. В твоей тетке нет ни капли литовской крови, шепнула мне мать, когда мы стояли на балконе алфамского дома, седьмая вода на киселе, странно, что она вообще нас пригласила. Она русская с ног до головы!

Я невольно обернулся и посмотрел на тетку через стеклянную дверь. Голова у нее была маленькой и гладкой, в те времена она заплетала косы и стягивала их в узел, узел лежал на смуглой шее и пушился, будто кокосовый орех. Зое сидела в кресле-качалке, а муж разминал ей ступни, устроившись рядом на полу и совершенно нас не стесняясь.

Тем летом я старался не носить очков, поэтому разглядеть тетку как следует не сумел. Сначала мне показалось, что ее лицо сияет дымчатым светом, будто кристалл кварца, но потом я понял, что свет проходит через витражное стекло.

Если бы Фабиу знал, что не пройдет и шести лет, как я буду ночевать с его женой в номере эстонского отеля «Барклай», он бы, наверное, здорово удивился. Он умер задолго до того, как это случилось, и тем самым лишился возможности отволочь меня на агору и засунуть в задницу колючую рыбину, а потом за-

сыпать согрешившие части тела горячей золой — так в старину полагалось поступать с прелюбодеями.

Он умер в девяносто восьмом. В этом году в Альпах лавина накрыла группу школьников, в литовской деревне поляк убил девятерых людей и собаку, немецкий поезд врезался в мост, англичане отменили смертную казнь, а я поступил в университет и поселился в облупленном общежитии на улице Пяльсоны.

Я читал «Введение в египтологию» и ходил в гости к двум однокурсницам, снимавшим на окраине домик с печкой, потому что в общежитии было холодно и дуло изо всех окон. По дороге к девушкам я отрывал доски от заборов или воровал угольные брикеты, однажды за мной погнался хозяин, кричавший: «Куррат! Куррат!» — я бросил брикеты и побежал — просто чтобы доставить ему удовольствие.

ЗОЕ

Шла Федора по угору, несла лапоть за обору, обора порвалась, кровь унялась. Когда таблетки не помогают, я ложусь в шавасану и вместо мантры читаю это громко и нараспев. Мне грустно думать, что ты застанешь дом в запустении, я знаю, что ты его любил. С тех пор как настоящие хозяева умерли, он тихо гневался и хирел, обдираемый скупщиками. Его защитные листья осыпались один за другим, и вскоре кое-где показалась кочерыжка: белые стены и ясеневые доски пола.

Иногда я захожу в кабинет и смотрю на письменный стол Фабиу, в два ряда заставленный музыкальными шкатулками. Я думаю о золочении, зазубринах и зубчиках, хотя не уверена, что точно помню пояснения мужа. Механизм приводится в движение стальной пружиной, говорил он, поглаживая австрийскую «August Bartle», на внутренней стороне крышки там был листочек с программой, только Штраус, четыре песенки.

Чем больше пружина, тем дольше играет музыка, говорил Фабиу, поглядывая на меня со значением. Он любил сравнения в духе Джона Клеланда, всякие там *мускусные чары*, мятные неистовства и синее газовое пламя в очах. Наша с ним шкатулка оказалась самой недолговечной, и музыка в ней была предсказуемая, размеренная и плавная: какой-нибудь «Fra Diavolo Cotillon» оп. 41.

Пружина лопнула в девяносто восьмом, когда Фабиу повесился перед дверью материнской спальни.

В спальню Лидии я давно не захожу, закрыла ее на ключ сразу после похорон, там, наверное, пыли по колено. Пыль в этом доме не слишком похожа на пыль, она не собирается в серые комочки, а лежит на всех поверхностях ровным слоем, светлая и шелковистая, будто викторианская пудра.

* * *

Косточка, не стесняйся, если будешь голодать, продавай все, что найдешь, и портреты предков, и мейсенские лампы, тут еще надолго хватит!

Сегодня приезжал антиквар, служанка собрала для него чайный сервиз от «Vista Alegre», завернула каждую чашку в газету, полдня просидела над этой коробкой, кряхтя и ругаясь. Я для нее что-то вроде демона-разрушителя, на моей совести падение дома Брага, а она служила им триста лет и три года. Возьми ее к себе, без нее дом проглотит тебя и не поперхнется. Не гони старуху, обещаешь?

Воспоминания как чужие векселя, прочла я в одном из романов, купленных на распродаже в разорившемся книжном на улице Элиешу. В горькие дни можешь ими рассчитывать, и пока тебе есть чем платить — ты в силе, у тебя полный рукав козырей. Есть ли у тебя воспоминания, Косточка? Если нет, то пусть у тебя будут мои, засунутые в ребристую железную коробочку с двумя красными кнопками *on* и *off*.

Нет, тут есть еще одна кнопка: пауза. Я только что ее обнаружила. Обычно я говорю с тобой не прерываясь, пока не устану, но тут мне вдруг страшно захотелось есть, я встала, прошла на кухню, держась руками за стену, нашла там принесенный служанкой сверток и развернула коричневую бумагу.

Точно в такую бумагу заворачивали горячий хлеб в тракайской пекарне: мы с твоей мамой ездили на озеро, покупали две свежие булки напротив замка и съедали их, глядя на уток. Крошить хлеб в воду было нельзя, за этим следил с башни замковый сторож; заметив нарушителей, он с грохотом сбегал по винтовой лестнице и принимался ругаться: ах вы змеи, лягушки, или вы

читать не умеете? В литовском языке нет крепких ругательств, это делает его галантным и немного *a moda antiga*.

В служанкином свертке оказался подсохший бисквит и яблоко, я вернулась с ними в кровать и вспомнила, как мы грызли с тобой крекеры в гостинице «Барклай». Вся постель была в крошках. Сначала шел мокрый снег, потом началась метель, и мы провели день в номере, попивая коньяк и слоняясь в стеганых одеялах, как два веселых привидения.

— Однажды, когда вас с Фабиу не было дома, — сказал ты тогда, — я зашел к тебе в спальню и забрался под твоё одеяло. На одеяле были разбросаны вещи, приготовленные для стирки, я запомнил, как они лежали, и потом разложил в таком же порядке. В этом было больше смысла, чем во всех свиданиях с Агне под роялем, вернее под лысым персидским ковром.

— Ты встречался с моей дочерью под роялем?

— И под роялем, и во всех темных углах, где она меня заставала. Она научила меня целоваться с открытыми глазами. Кстати, твои хваленые ковры были испорчены старой собакой и сыростью. От них воняло, как от клетки с опоссумом.

— Этого не могло быть! — воскликнула я горестно. — Я бы почувяла. Скажи, что ты врешь!

И ты сказал, что тебе стоило.

КОСТАС

— Эти видеокамеры принадлежат вам? — следовательно вертел проводок между пальцами.

Я уже знал, что его фамилия Пруэнса, лицо у него было крупное, холеное, оно показалось мне смутно знакомым, как будто я видел его раньше, но мельком, на улице. В кабинете было не тепло, я сидел на железном стуле и дрожал от холода, а он накинул на плечи твидовое пальто.

— Я уже говорил, что нет. Это собственность Лютаса Раубы. Он собирался снимать кино и оставил у меня часть оборудования.

— То есть вы подтверждаете, что были знакомы с Раубой, гражданином Литвы? — Он нажал кнопку на сером диктофоне.

— Разумеется, с самого детства. Теперь скажите, где я нахожусь. И в чем меня обвиняют?

— Вы находитесь в следственной тюрьме, задержаны по подозрению в убийстве. Адвоката вам на днях предоставит центр помощи иммигрантам. На вашем месте я бы начал сотрудничать со следствием прямо сейчас.

Некоторое время я сидел молча, придумывая, как лучше провести разговор. Начать рассказывать всю правду? Молчать, пока не придет адвокат? Да ладно, у них уже все решено, либретто написано, дирижерская палочка летает сама по себе, и мне остается только представлять себе музыку, вернее, ту особую пустоту оркестровой ямы, где вразнобой звучат какие-то сигналы, то шелест, то жестяные стуки, то виолончельный плеск.

— Вы готовы? — Пруэнса барабанил пальцами по старомодному гаджету, записывающему наше молчание. Точно такой же, только черный, я нашел в теткинском столе, когда разбирал ее бумаги. Когда я включил его, то на несколько минут перестал дышать, как будто оказался под водой с открытыми глазами.

В моем доме полно тайников, он состоит из них, как вселенная из фрактальных уровней, так что я наткнулся на диктофон только весной две тысячи девятого. До этого я держал закрытой комнату, где Зое умерла. Я лег на пыльные простыни, которые ничем не пахли, кроме аптекарской дряни, и стал слушать теткин голос, слабый, ускользящий, то и дело прерываемый кашлем.

Я всегда немного стыдился наших голосов. Наши голоса были словно два пищика в животах у площадных кукол. Мы были одно, а наши речи — другое. За все время, что я провел с ней рядом — в постели, за столиком кафе, на автобусном вокзале, — я ни слова не сказал своим голосом, я то смущался, то наглед, то пыжился, то защищался, я все время был занят. И она тоже.

Черный диктофон, вот чего мне не хватает в этой тюрьме. Когда за мной пришли на руа Ремедиош, я не взял ни одной нужной вещи, так и ушел в пальто и ботинках на босу ногу. Сидя напротив инспектора, я ждал, когда один из полицейских поднимется на второй этаж и крикнет оттуда: «Пришлите дактилоскописта! Я нашел пятна на стенах от мыльной воды и уксуса!»

Но никто не крикнул, меня довольно быстро вывели из дома и отправили в участок, так что, подумав хорошенько, я понял, что *locus delicti* никого не интересует. Я понятия не имел, куда

делась Додо, где скрывается остальная шайка и что надо говорить, чтобы мне здесь поверили.

Стратегема: обмануть императора, чтобы переплыть море. Если мне поверят, я сяду в тюрьму за соучастие и сокрытие улик, если не поверят — сяду за убийство. Для каждой свиньи наступает день ее святого Мартина, как сказал один испанец, побывавший в плену. Мать испанца, добрая донья Леонор, выкупила его за две тысячи дукатов. На мою мать надеяться точно не стоит.

* * *

Было время, когда моим лучшим другом был Лютас из флигеля — так его звали во дворе, потому что он жил в деревянной пристройке с печью. А меня звали Косточка, я начисто забыл это прозвище и вспомнил только недавно, когда начал слушать теткинны записи. Приятно, что для кого-то я остался вишневым косточкой, хотя давно уже стал черной костью, твердым и грязным мослом, обглодышем.

В девяносто пятом Лютас провожал меня в Лиссабон: мы сидели в нашем подъезде на подоконнике и пили горькую настойку. В тот день он принес мне свою кожанку, шоферскую, чтобы я не позорился за границей, а в придачу — горсть эстонских денег, которые он выменял в школе на марки.

Эстонцы только что отчеканили белые однокроновые монетки, чудесно совпадающие по размеру с немецкой мелочью. Во Франкфурте у нас была пересадка, так что я потихоньку обобрал автоматы в зале ожидания, набив карманы сигаретами и пакетами соленого миндаля.

Я никогда не задумывался о мужской красоте, пока не увидел Лютаса, я вообще думал, что красота — это то, что бывает у взрослых женщин и у старинных вещей. Весь остальной мир я делил на то, что выглядит мерзко, и то, что можно потерпеть.

Когда я увидел Лютаса в первый раз, то подумал, что это девчонка: слишком уж ловко сидели на нем джинсы, слишком светлой была кожа, да и волосы были подозрительно чистыми. В тот же вечер мы подрались, и он оказался крепче и свирепее меня, даже зубы в ход пустил. Помирившись, мы совершили справедливый обмен: я дал ему рамку с четырьмя бражниками, а он мне — гнездо славки, выложенное конским волосом.

Мы звали друг друга *бичулис*, с литовского это переводится как «приятель», но не только: так называют друг друга пасечники, владеющие общими пчелами. *Бите* означает «пчела», у моего двоюродного деда на хуторе их было видимо-невидимо. После дедовой смерти его дряхлый бичулис с соседнего хутора сразу пришел за ульями, постучал по ним палкой и сообщил, что забирает их на свою пасеку, мол, так по традиции положено.

Когда я сказал, что провалился на филфак и поступил на исторический, Лютас даже не удивился, похоже, он не видел разницы между лингвистом и медиевистом. Они с Габией целыми днями пропадали на городском пляже, где был ларек с чешским пивом: пиво остужали, опуская бутылки в авоське в речную воду.

Иногда Лютас звал меня с собой, и я не отказывался, хотя валиться на одеяле рядом с Габией, затянутой в тесный купальник, было выше моих тогдашних сил. У меня мутилось в глазах каждый раз, когда она открывала рот, чтобы сунуть за щеку леденец. Теперь-то я знаю, что греческое *χάος* имеет общий корень с глаголом «разевать» — неважно что, девичий рот или пасть звериную.

В пятом классе мой друг затеял угнать антикварный соседский «виллис», давно дразнивший нас сиденьями из потертой рыжей кожи, похожими на чемоданы из шпионского фильма. Лютас забрался внутрь и завел мотор, а я стоял на стреме. Мы катались до утра, доехали до Тракайского озера, где мотор всхлипнул в последний раз и заглох, пришлось возвращаться в город ранним автобусом, полным старушек с корзинками; в корзинках виднелись свекольная ботва и молодые шершавые огурцы.

В полдень хмурый сосед позвонил в нашу дверь, поговорил с матерью, и она закрыла меня до вечера в чулане, где с потолка спускалась лампочка на сорок ватт. Обыскав все как следует, я нашел на антресолях пачку бухгалтерских книг в проеденных мышами переплетах. К одному из гроссбухов был привязан химический карандаш на веревочке, совсем целый.

Я сел на стул, вырвал из тетради исписанный синими цифрами листок и начал сочинять рассказ о двух мальчишках, угнавших генеральскую машину, добравшихся на ней до Варшавы и гуляющих там с паненками по кофейням. Часам к восьми вечера я извел карандаш и принялся искать что-нибудь съестное. Потянув коробку с консервами с верхней полки, я обрушил

на себя тяжелую залежь холщовых мешков, поднял тучу пыли и закашлялся.

— Это кто там шебуршит? — строго спросили за дверью. — Уж не вор ли забрался?

Я узнал голос доктора Крейвиса, любовника матери, обрадовался и подал голос, надеясь, что он сходит за ключом. Но не успел я закончить фразу, как раздался глухой звук, будто ударили ногой по плохо надутому мячу, дверь открылась, и Крейвис возник на пороге, белея в сумерках своим безупречным халатом.

— Ты что здесь делаешь? В индейцев играешь?

— Меня мать закрыла. — Я сунул листки с рассказом за пазуху и быстро протиснулся мимо него.

— Закрыла? Дверь-то не заперта! Ишь послушный какой. Я бы давно удрал, будь я на твоём месте.

Ну нет, думал я, сбегаю по лестнице, только не на моём месте. С доктором я бы не стал меняться местами, от него пахло разведенным спиртом и дегтем, а недавно он купил себе «трабант» и теперь проводил воскресенья, разглядывая его усталые внутренности. К тому же, будь я доктором, мне пришлось бы, чего доброго, полюбить мою мать.

* * *

Вещи обманывают нас, ибо они более реальны, чем кажутся, писал Честертон. Настоящие вещи живут в скрытой возможности, а не в свершении, вроде пачки бенгальских огней или паке-тика семян.

Отбери у меня возможность погружать пальцы в клавиши и водить глазами по буквам, и я с ходу погружусь в кипяток действительности, как те крабы, что водятся в мутной воде у портового причала возле кафе «Алмада». Раньше их ловили прямо с веранды кафе, отрывали клешни и бросали обратно в воду. А клешни варили в чане с кипятком.

Стоит мне завидеть свою сноровистую кириллицу, черных жуков на светящемся поле, как у меня отрастают клешни, и я оживаю, соскальзываю в воду и боком, боком ухожу на свое придуманное дно. Существует только я и кириллица, латинские буквы недостаточно поворотливы, они цепляются за язык, будто

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru